



П. Я. ЧААДАЕВ

Кн<язю> П. А. Вяземскому

Спасибо, любезный князь, за ваше милое письмо. Дело К. постараемся сами устроить¹; а вас все-таки благодарим за ваше участие. С вашим суждением о нашем житье-бытье я не совершенно согласен, хотя, впрочем, вы во многом и правы. Что мы умны, в том никакого нет сомнения, но чтоб в уме нашем вовсе не было проку — с этим никак не могу согласиться. Неужто надо непременно делать дела, чтобы делать дело?² Конечно, можно делать и то и другое; но из этого не следует, чтобы мысль и не выразившаяся еще в жизни, не могла быть вещь очень дельная. Настанет время, она явится и там. Разве люди живут в одних только департаментах да канцеляриях? Вы скажете, что мысли наши не только не проявляются в жизни, но и не высказываются на бумаге. Что ж делать? Знать, грамотка нам не далась. Но зато, если б послушали наши толки! Нет такого современного или несовременного вопроса, которого бы мы не решили, и все это в честь и во славу святой Руси. Поверьте, в наших толках очень много толку. Мир всплеснет руками, когда все это явится на свет дневной. Но поговорим лучше о деле, и вам и нам общем.

У вас, слышно, радуются книгою Гоголя; а у нас, напротив того, очень ею недовольны³. Это, я думаю, происходит оттого, что мы более вашего были пристрастны к автору. Он нас немножко обманул, вот почему мы на него сердимся. Что касается до меня, то мне кажется, что всего любопытнее в этом случае не сам Гоголь, а то, что его таким сотворило, каким он теперь пред нами явился. Как вы хотите, чтоб в наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтоб голова у него не закружилась? Это просто невозможно. Мы нынче так довольны всем своим родным, домашним, так радуемся своим

прошедшим, так потешаемся своим настоящим, так величаемся своим будущим, что чувство всеобщего самодовольства невольно переносится и к собственным нашим лицам. Коли народ русский лучше всех народов в мире, то, само собою разумеется, что и каждый даровитый русский человек лучше всех даровитых людей прочих народов. У народов, у которых народное чувство искони в обычае, где оно, так сказать, поневоле вышло из событий исторических, где оно в крови, где оно вещь пошлая⁴, там оно, по этому самому, принадлежит толпе и на ум высокий никакого действия иметь уже не может; у нас же слабость эта вдруг развернулась, наперекор всей нашей жизни, всех наших вековых понятий и привычек, так что всех застала врасплох, и умных и глупых: мудрено ли, что и люди, одаренные дарами необыкновенными, от нее дуреют! Стоит только посмотреть около себя, сейчас увидишь, как это народное чванство, нам доселе чуждое, вдруг изуродовало все лучшие умы наши, в каком самодовольном упоении они утопают, с тех пор, как совершили свой мнимый подвиг, как открыли свой новый мир ума и духа! Видно, не глубоко врезаны в душах наших заветы старины разумной; давно ли, повинувшись своенравной воле великого человека, нарушили мы их перед лицом всего мира⁵, и вот вновь нарушаем, повинувшись, какому-то народному чувству, бог весть откуда к нам занесенному!

Недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем, которые превозносят его до безумия, которые преклоняются пред ним, как пред высшим проявлением самобытного русского ума, которые ожидают от него какого-то преобразования русского слова, которые налагают на него чуть не всемирное значение, которые, наконец, навязали на него тот гордый, несродный ему патриотизм, которым сами заражены, и таким образом задали ему задачу неразрешимую, задачу невозможного примирения добра со злом: достоинства же ее принадлежат ему самому. Смирение, насколько его есть в его книге, плод нового направления автора; гордость, в нем проявившаяся, привита ему его друзьями. Это он сам говорит, в письме к к. Львову⁶, написанном по случаю этой книги. Разумеется, он родился не вовсе без гордости, но все-таки главная беда произошла от его поклонников. Я говорю в особенности о его московских поклонниках. Но знаете ли, откуда взялось у нас на Москве это безусловное поклонение даровитому писателю? Оно произошло оттого, что нам понадобился писатель, которого бы мы могли поставить наряду со всеми великанами духа человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше всех иных писателей настоящего времени и прошлого. Это странно,

но это сущая правда. Этих поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю, они люди умные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь, над всеми народами в мире, им непременно захотелось себя и всех других уверить, что мы призваны быть какими-то наставниками народов. Вот и нашелся, на первый случай, такой крошечный наставник, вот они и стали ему про это твердить на разные голоса, и вслух и на ухо; а он, как простодушный, доверчивый поэт, им и поверил. К счастью его и к счастью русского слова, в нем тайлся, как я выше сказал, зародыш той самой гордости, которую в нем силились развить их хваления. Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим людям он не питал ни малейшего уважения. Это можете видеть из этой его книги и выражается в его разговоре на каждом слове. От этого родилось в нем какое-то тревожное чувство к самому себе, усиленное сначала болезненным его состоянием, а потом новым направлением, им принятым, быть может, как убежищем от преследующей его грусти, от тяжкого, неисполнимого урока, ему заданного современными причудами. Нет сомнения, что если б эти причуды не сбили его с толку, если б он продолжал идти своим путем, то достиг бы чудной высоты; но теперь, бог знает, куда заведут его друзья, как вынесет он бремя их гордых ожиданий, неразумных внушений и неумеренных похвал!

У нас в Москве, между прочим, вообразили себе, что новым своим направлением обязан он так называемому Западу, стране, где он теперь пребывает, иезуитам. На этой счастливой мысли остановился наш замысловатый приятель в «Московских ведомостях»⁷, и, вероятно, разовьет ее в следующем письме с обычным своим остроумием. Но иезуитство, как его разумеют эти господа, существует в сердце человеческого с тех пор, как существует род человеческий; за ним нечего ходить в чужбину; его найдем и около себя, и даже в тех самых людях, которые в нем укоряют бедного Гоголя. Оно состоит в том, чтобы пользоваться всеми возможными средствами для достижения своей цели; а это видано везде. — Для этого не только не нужно быть иезуитом, но и не надо верить в бога; стоит только убедиться, что нам нужно прослыть или добрым христианином, или честным человеком, или чем-нибудь в этом роде. В Гоголе ничего нет подобного. Он слишком спесив, слишком бескорыстен, слишком откровенен, откровенен иногда даже до цинизма, одним словом, он слишком неловок, чтобы быть иезуитом. Некоторые из его порицателей особенно отличаются своею ловкостью, искусством промышлять всем, что ни попадет им под руки,

и в этом отношении они совершенные иезуиты. Он больше ничего, как даровитый писатель, которого чрез меру возвеличили, который попал на новый путь и не знает, как с ним сладить. Но все-таки он тот же самый человек, каким мы его и прежде знали, и все-таки он, и в том болезненном состоянии души и тела, в котором находится, стократ выше всех своих порицателей — и когда захочет, то сокрушит их одним словом и размечет, как былье непотребное.

Эти строки были написаны до получения вашей книжечки⁸; с тех пор был я болен и не мог писать. Благодарю за присылку. — Не стану переначинать письма; а скажу вам в двух словах, как сумею, свое мнение о вашей статье. Вам, вероятно, известно, что на нее здесь очень гневаются. Разумеется, в этом гневе я не участвую. Я уверен, что если вы не выставили всех недостатков книги, то это потому, что вам до них не было дела, что они и без того достаточно были выказаны другими. Вам, кажется, всего более хотелось показать ее важность в нравственном отношении и необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора, и это, по моему мнению, вы исполнили прекрасно. Что теперь ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей как самое честное слово, произнесенное об этой книге. Все, что ни было о ней сказано другими, преисполнено какою-то странною злобою против автора. Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столько времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось поговорить с нами не смеясь, что с ним случилось то, что ежедневно случается в кругу обыкновенной жизни с людьми менее известными и что он осмелился нам про это рассказать по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения. Позабывают, что писатель, и писатель столь известный, не частный человек, что скрыть ему свои новые, задушевные чувства было невозможно и не должно; что он, не одним словом своим, но и всей своей душою, принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный; забывают, что при некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, в книге его находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся. Вы одни относитесь с любовью о книге и авторе: спасибо вам! День ото дня источник любви у нас более и более иссякает, по крайней мере в мире печатном: итак, спасибо вам еще раз! На меня находит невыразимая грусть, когда вижу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя, доставившего нам столько слезных радостей, за то только, что перестал нас тешить и, с чувством

скорби и убеждения, исповедуется пред нами и старается, по силам, сказать нам доброе и поучительное слово. Все, что мне бы хотелось сказать вам на этот счет, вы отчасти уже сказали сами несравненно лучше, чем бы мне удалось тоже выразить, особенно на языке, которым так бессильно владею; но одно, о чем намекал уже в первых своих строках, кажется, упустили из виду, а именно высокомерный тон этих писем. Я уже сказал, какому влиянию его приписываю; но нельзя же, однако, и самого Гоголя в нем совершенно оправдать, особенно при том духовном стремлении, которое в книге его обнаруживается. Это вещь, по моему мнению, очень важная. Мы искони были люди смиренные и умы смиренные; так воспитала нас церковь наша. Горе нам, если изменим ее мудрому ученью! Ему обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши. К сожалению, новое направление избраннейших умов наших именно к тому клонится, и нельзя не признаться, что и наш милый Гоголь, тот самый который так резко нам высказал нашу грешную сторону, этому влиянию подчинился. Пути наши не те, по которым странствуют прочие народы; в свое время мы, конечно достигнем всего благого, из чего бьется род человеческий; а может быть, руководимые святою верою нашею, и первые узрим цель, человечеству богом предназначенную; но по сию пору мы еще столь мало содействовали к общему делу человеческому, смысл значения нашего в мире еще так глубоко таится в сокровениях провидения, что безумно бы было нам величаться пред старшими братьями нашими. Они не лучше нас; но они опытнее нас. Ваша деловая петербургская жизнь заглушает вас; вам не все слышно, что гласится на земле русской. Прислушайтесь к глаголам нашим: они поведают вам дивные вещи. В первой половине статьи вашей вы сказали несколько умных слов о нашей новоизобретенной народности; но ни слова не упомянули о том, как мы невольно стремимся к искажению народного характера нашего. Помыслите об этом. Не поверите, до какой степени люди в краю нашем изменились с тех пор, как облеклись этой народною гордынею, неведомой боголюбивым отцам нашим. Вот что меня всего более поразило в книге Гоголя и чего вы, кажется, не заметили. Во всем прочем с вами заодно. Поклонитесь Тютчеву, княгине сердечный мой поклон; сыну вашему *une bonne poignée de main*⁹.

Басманная. 29 апреля 1847 г.